

*Рисунки Г. Филипповского*

*Памяти  
Тамары Григорьевны Габбе*

## **ОТ АВТОРА**

*В этих записках о годах моего детства и ранней юности нет вымысла, но есть известная доля обобщения, без которого нельзя рассказать обо многих днях в немногих словах. Некоторые эпизодические лица соединены в одно лицо. Изменены и кое-какие фамилии.*



\* \* \*

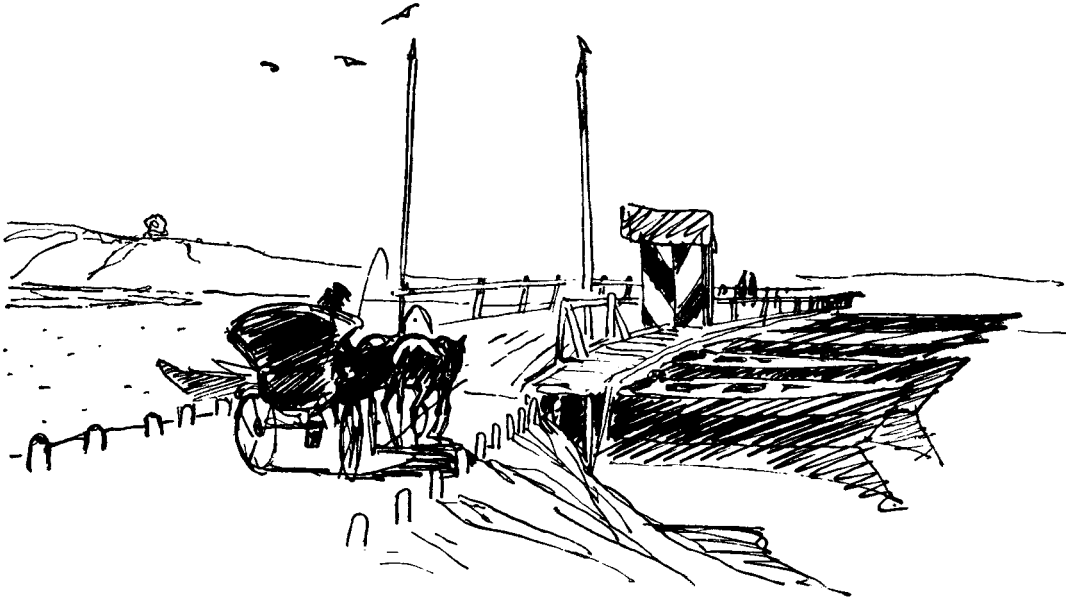
Столько дней прошло с малолетства,  
Что его вспоминаешь с трудом.  
И стоит вдалеке мое детство,  
Как с закрытыми ставнями дом.

В этом доме все живы-здоровы —  
Те, которых давно уже нет.  
И висячая лампа в столовой  
Льет по-прежнему теплый свет.

В поздний час все домашние в сборе:  
Братья, сестры, отец и мать.  
И так жаль, что приходится вскоре,  
Распрощавшись, ложиться спать.

\*





В начале жизни школу помню я...  
А. Пушкин

## ВРЕМЕНА НЕЗАПАМЯТНЫЕ

Семьдесят лет — немалый срок не только в жизни человека, но и в истории страны.

А за те семь десятков лет, которые протекли со времени моего рождения, мир так изменился, будто я прожил на свете по меньшей мере лет семьсот.

Нелегко оглядеть такую жизнь. Для того, чтобы увидеть ее начало — время детства, — приходится долго и напряженно всматриваться в даль.

Конец восьмидесятых годов. Город Воронеж, пригородная слобода Чижевка, мыловаренный завод братьев Михайловых. При заводе, на котором работал отец, — дом, где я родился.



Собственно говоря, никаких «братьев Михайловых» мы и в глаза не видели, а знали только одного хозяина — флегматичного, мягко покашливающего Родиона Антоновича Михайлова и его сына — воспитанника кадетского корпуса в коротком мундирчике с белым поясом и красными погонами.

Годы, когда отец служил на заводе под Воронежем, были самым ясным и спокойным временем в жизни нашей семьи. Отец, по специальности химик-практик, не получил ни среднего, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гете в подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами

в области мыловарения и очистки растительных масел. Его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа он работал в одном из приволжских городов на заводе богачей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о своей лаборатории.

Однако мечты эти так и не сбылись.

У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать на большее, чем на должность заводского мастера, он не мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией и несокрушимой волей.

Немногие оказались бы в силах так решительно и круто повернуть свою жизнь, как это сделал отец в ранней молодости.

Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он, к великому их разочарованию, прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводик — где-то в Золотоноше или в Пирятине — сначала в качестве ученика, а потом и мастера. Решиться на такой шаг было нелегко:

книжная премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ремесленниках видели как бы людей низшей касты.

Да и не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу.

Много тяжких испытаний и горьких неудач выпало на долю отца прежде, чем он овладел мастерством и добился доступа на более солидный завод.

И, однако, даже в эти трудные годы он находил время для того, чтобы запоем читать Добролюбова и Писарева, усваивать по самоучителю немецкий язык и ошупью разбираться в текстах и чертежах иностранной технической литературы.

Человек он был мягкий, по-детски простодушный, но самолюбивый до крайности, и его гордый, непоклонный нрав мешал ему ужиться с хозяевами в поддевках и сапогах бутылками — людьми невежественными, но требовавшими от своих подчиненных почтительного повиновения. Не ладил отец и с властями предрежащими.

Был у него в молодости случай, который надолго сохранился в наших семейных преданиях.

Отец только что поступил на большой завод в одном из губернских городов Поволжья. Встретили его с распростертыми объятиями и сразу же отвели ему квартиру во втором этаже флигеля, расположенного на заводской территории. Кажется, это была первая в его жизни отдельная квартира.

С удовольствием, не торопясь, принялся он разбирать и раскладывать вещи, как вдруг раздался громкий стук в дверь, — это пожаловал не кто иной, как сам полицейский пристав, особа по тем временам довольно значительная. Приехал он якобы для того, чтобы проверить, в порядке ли у отца документы и есть ли у него «право жительства» вне «черты оседлости», где евреям разрешалось тогда селиться.

В сущности, пристав мог бы вызвать отца к себе в полицейский участок повесткой, но предпочел явиться лично, чтобы с глазу на глаз, из рук в руки получить установленную обычаем дань.

Не дождавшись полусотенной, на которую он рассчитывал, величавый пристав потерял терпение и позволил себе какую-то грубость. Отец вспылил, а так как силы он был в то время незаурядной, незванный гость и оглянуться не успел, как очутился на лестничной площадке и от одного толчка полетел вниз по крутым деревянным ступенькам...



Слушать эту историю нам никогда не надоедало. Мы представляли себе — вместо того, незнакомого, — нашего воронежского пристава, большого, статного с полукружиями белокурых пушистых усов, шагающего, словно на пружинах, в своей голубоватой офицерской шинели и лакированных сапогах.

И вот такой-то пристав кубарем катился по всем ступенькам, гремя шашкой и медными задниками калош. Об одном только мы жалели: отчего отец жил в ту пору во втором этаже, а не в третьем или даже в четвертом...

Впрочем, и этот полет пристава со второго этажа мог бы дорого обойтись отцу. Не знаю, какие громы небесные обрушились бы на его буйную голову, если бы хозяин завода не съездил к губернатору, с которым частенько играл в карты, и не убедил его замять это щекотливое дело.

Должно быть, отец был в ту пору необходим на заводе — иначе хозяин вряд ли вмешался бы в эту историю, а скорей всего предоставил бы строптивного мастера его судьбе.

Однако через некоторое время он предпочел расстаться с отцом, поручив заблаговременно своим служащим выведать у него кое-какие из его профессиональных секретов.

---

На заводе «братьев Михайловых» отец не чувствовал над собой — особенно в первые годы — хозяйской руки. Был он в это время молод, здоров, полон надежд и сил. Да и мать наша, не отличавшаяся крепким здоровьем, была еще тогда довольно весела и беззаботна, несмотря на то, что ее никогда не покидала тревога о детях. Неподалеку от завода простиралось поле, за ним роща, и у матери пока еще хватало досуга, чтобы иной раз под вечер выходить с отцом на прогулку.

Мне дорого смутное воспоминание о молодости моих родителей. Эта счастливая пора их жизни длилась недолго. Правда, отца я и в более поздние годы помню сильным, широкоплечим, жизнерадостным, но глубокая морщинка заботы рано пролегла между его бровей, а рыжеватые усы и маленькая острая бородка поседели задолго до старости. Только густые, черные с блеском волосы, круто зачесанные вверх, ни за что не хотели поддаваться седине.

Мать постарела и поблекла гораздо раньше отца, хоть и была много моложе его. Но, помнится мне, в эти воронежские годы ее синие, пристальные, глубоко сидящие глаза еще смотрели на мир доверчиво, открыто и немного удивленно. Приподнятые и чуть сведенные к переносице брови придавали ее взгляду оттенок настороженности, напряженного внимания.

Может быть, я даже не самое ее помню в эти годы, а побледневшую от времени фотографическую карточку, на которой она казалась такой юной и милостивой в скромной кофточке с модными тогда «буфами» на плечах. Волосы ее, коротко остриженные во время болезни, не успели отрасти, и от этого она выглядела еще моложе, чем была на самом деле. Под фотографией значилась фамилия московского фотографа.

Это была память о тех праздничных месяцах, которые мать провела до замужества в гостях у сестры и брата в Москве. Там-то она и встретила с моим отцом. Покинув строгую, патриархальную семью, которая жила в Витебске, она впервые попала в столицу, в круг молодых людей — друзей брата, ходила с ними в театр смотреть Андреева-Бурлака, любимца тогдашней молодежи, слушала страстные студенческие споры о политике, о религии, морали, о женском равноправии, зачитывалась Тургеневым, Гончаровым, Диккенсом.

«Давида Копперфильда» она и отец читали вслух по очереди.

Московские друзья брата приняли ее в свой кружок как свою. Показывали ей город, доставали для нее билеты то в оперу, то в драму.

Не часто доводилось ей бывать в театре и на дружеских вечеринках в последующие годы ее жизни, омраченные нуждой и заботой. Вероятно, потому-то она и вспоминала с такой благодарностью немногие дни, прожитые в Москве.

Впрочем, мать моя никогда не была слишком словоохотливой и, в противоположность отцу, не умела да и не любила выражать свои сокровенные чувства. Но и по ее немногословным, скупым рассказам в памяти у меня навсегда запечатлелось, быть может, не вполне отчетливое и точное, но живое представление о молодежи восьмидесятых годов, о московских «старых» студентах в косоворотках и поношенных тужурках, об их шумной, дружной и, несмотря на бедность, по-своему широкой жизни. Я не запомнил их имен, за исключением одного,

которое чаще других упоминала мать. Ни разу в жизни не видел я человека, носившего это имя, да и родители мои никогда больше не встречались с ним. Знаю только, что он был так же беспечен, как и беден. За душой у него не было гроша медного, но это не мешало ему быть душой своего кружка. И фамилия его казалась мне словно нарочно придуманной: «Душман». Я был тогда совершенно уверен, что это не зря.

Воронежские знакомые моих родителей были людьми совсем иного круга и другого возраста. Солидные, семейные, они изредка приезжали к нам из города отдохнуть и пообедать. В таких случаях обедали дольше, чем всегда, и нас, детей, кормили отдельно. По совести сказать, нам были не слишком по вкусу эти приезды. Ради гостей приходилось надевать праздничные костюмчики, в которых нельзя было забираться под кровать, если туда закатывался мяч, или прятаться за большим сундуком в передней. Правда, гости привозили из города конфеты, а иной раз игрушки, но зато без конца приставали к нам с вопросами: сколько нам лет, деремся ли мы друг с другом и кого больше любим — папу или маму.



Уклоняясь от таких никому не интересных разговоров, мы выбежали во двор и любовались лошадьми, которые ожидали у крыльца. Засунув морды до самых глаз в торбы с овсом, они мигали длинными бесцветными ресницами и помахивали хвостами, а мы наперебой спрашивали кучеров, смиренные ли у них лошади или горячие и можно ли покормить их с ладони хлебом.

Каждую лошадь мы сравнивали с нашим Ворончиком, и он всегда оказывался лучше всех.

Это был молодой, норовистый конь, которого хозяин завода предоставил в распоряжение отца, так как жили мы далеко от города.

Ворончиком называли его, вероятно, потому, что шерсть у него была черная и лоснистая, как вороново крыло, но для меня эта кличка была больше связана с именем города. Ворончик — воронежский конь.

Когда отцу надо было съездить в город, Ворончика запрягали в легкие, узкие дрожки. Правил отец сам. Я и мой брат, который был на два года старше меня, не упускали случая полюбоваться рослым, статным, огнеглазым Ворончиком, когда он легко и весело выносил дрожки из распахнутых ворот. А как гордились мы отцом, который спокойно и уверенно держал в вожжах непокорного, резвого коня.

Я был еще очень мал в это время — и поэтому Ворончик навсегда остался у меня в памяти каким-то сказочным конем-великаном. Он был очень страшен, когда закидывал голову или подымался на дыбы, пытаюсь освободиться от стеснявшей его упряжи.

Видно было, что и хозяйский кучер не на шутку побаивался Ворончика. Уж очень осторожно оглаживал он его, ласково приговаривая: «Ну, не шали, не шали, мальй!»

Но «мальй» был не прочь пошалить. Однажды он чуть не разнес в щепки сани, в которых ехали хозяин завода и кучер. После этого мать каждый раз с тревогой ожидала возвращения отца из города, особенно в те дни, когда он задерживался там дольше обычного.

Мы, дети, в городе бывали редко. Помню только две поездки. Первый раз, когда я еще и говорить как следует не умел, мы ездили смотреть на человека, который ходил над площадью по канату.

В другой раз нас повезли в городской сад, где в круглой беседке играли военные музыканты.